

Ирина Иваськова

Подозрительные вещи и забытые предметы

Страна весны

Женька умерла седьмого февраля.

Я узнала об этом через неделю, поздним вечером, из чата бывших одноклассников. Девочки охали, писали что-то длинное, торопливое, и я тоже написала что-то испуганное и бессмысленное. Мальчики — теперь сорокалетние солидные мужчины — торжественно молчали.

Потом я легла спать, но долго не могла уснуть и смотрела в темноту, вспоминая, что Женька приснилась мне в самом начале февраля, и я ещё хотела запомнить этот сон и, конечно же, тут же его забыла. Но она снилась — я помнила точно, и теперь это было особенно важно. Потом я вспомнила, как тридцать пять лет назад мы с Женькой ходили по огромной луже босиком. В середине лужи нам было по шиколотку, мягкая грязь скользила под ногами, а вода была тёплая, нагретая солнцем.

«Это несправедливо, несправедливо!» — писали девочки в чате. Но справедливости я давно не ждала и удивлялась: неужели кто-то ещё всерьёз рассчитывает на неё?

В окнах онлайн-конференции мелькали незнакомые лица. Я, по счастью, ничего не должна была говорить, могла выключить свои видео и звук и только слушать. И я слушала и одновременно думала про вчерашний вечер, странно замедлившийся от известия про Женьку. Вечер тянулся, тянулся, но прошёл; прошла ночь, наступило утро, и каждый из бывших моих одноклассников теперь был занят своими делами. Вот и я занималась чужими стихами, чтобы потом, когда-нибудь, не повторить чужих ошибок.

Немолодая женщина, спотыкаясь, читала что-то о смерти солдата. Герой её стихотворения падал на землю, прижимался к ней щекой и вспоминал о маминих глазах. Женщине было жалко солдата, и его маму, и ещё тысячи других солдат и мам, она читала и хотела плакать. Я тоже чувствовала жалость — но не к герою, а к ней. Где-то прямо сейчас солдаты действительно падали на землю, но она, как и я, не могла себе представить, а уж тем более описать ничего из того, что происходило дальше. Слова «взрыв», «кровь» и «окопы» в её устах звучали так же, как звучали бы «сон»,

«руки» или «слёзы», да и вообще стихов писать ей не стоило.

Когда она замолчала, молоденький поэт принялся отчитывать её за сбой ритма и дешёвые рифмы. Он так и сказал — «дешёвые», а его лицо, даже сквозь уродующее кого угодно онлайн-окно, светилось такой драгоценной красотой и юностью, что смотреть на него было больно.

Женщина краснела, кивала и что-то записывала. Вот бы взглянуть на эти записи: неужели она и вправду будет потом пересчитывать слоги и подбирать новые рифмы? Юный поэт замолчал, загворил какой-то мужчина — некрасивый, с резким, неприятным голосом, и я совсем перестала слушать.

Зимой маленький приморский город похож на хрупкую, тонко сработанную игрушку. Если смотреть на город с высоты, то кажется странным, что нет вокруг него каменных стен с бойницами и подъёмными мостами. Страшно жить так — у самой воды, без всякой защиты. Вот бы накрыть эту игрушку прочным стеклянным куполом, а потом встряхнуть и смотреть, как плавно скользят по мокрому стеклу песок и крошки ракушек.

Песчаный берег плавно уходит в ледяную воду, а когда начинается шторм, волны отчаянно колотят бетонные пирсы — так, что бетон крошится и обнажает свой ржавый арматурный хребет. В солнечные и безветренные дни море становится прозрачным и голубым, но его игра и блеск обманчивы. Вода по-прежнему ледяная, тёмные облака толпятся у горизонта, и гудит, гудит над головой серый самолёт с толстыми крыльями...

Я бежала к автобусу, прижав к себе сумку и пакет, а вокруг меня на нетвёрдо сидящую брусчатку тротуара ложились мелкие горошинки снега. Они тут же таяли, и мои пуховик, шарф и ботинки тоже становились горошчатыми, темнели. Водитель дождался меня, принял горсть монеток и закрыл двери. Я уселась у окна, ощутив вдруг странное смирение и что-то вроде уюта. Никогда раньше мне не было уютно в самой себе, да ещё и не дома — для уюта всегда нужны были тепло и сумерки комнат, и я даже прикрыла на секунду глаза, стараясь удержать это новое впечатление и сберечь его. Острые снежинки застучали в грязное

стекло и тут же превратились в дождь—обычно для южной зимы дело. Я сняла перчатки и достала телефон.

Чат одноклассников молчал, но одно сообщение было—голосовое, с незнакомого номера. Я машинально включила его, и какая-то женщина, волнуясь, сообщила мне, что я очень добрая и, конечно, не откажу ей в просьбе.

«... Знаю, что вы не откажете,—торопливо повторила она.—Мне просто совершенно не с кем поговорить о своей книге, а вы хороший редактор и очень, очень добрая, мне так сказали...» Сидящий рядом мужчина покосился в мою сторону, и я закрыла сообщение, не дослушав.

Она стояла у центрального входа, съёжившись от холода. Я почему-то сразу поняла, только взглянув на её основательное пальто и белую вязаную шапочку, что это та самая вчерашняя незнакомка. Сообщение от неё я так и не дослушала, удалила и номер её заблокировала. Должно быть, я оказалась не такой доброй, как ей говорили, и теперь мне было немного стыдно, но больше досадно: не поленилась бы вчера, ответила что-нибудь, и не было бы этой дурацкой встречи и этого незнакомо-го лица. Незнакомых лиц мне сейчас не хотелось. Мне вообще не хотелось выходить из дома и уж тем более идти на работу, а хотелось думать про Женьку и стараться вспомнить тот сон: вдруг она хотела сказать мне что-то важное на прощание?

Но лицо незнакомки мне неожиданно понравилось: глаза у неё были печальные и аккуратно накрашенные, и видно было, что ей тоже очень неловко.

Она назвала меня по имени и представилась сама—и звали её хорошо: Еленой Николаевной. —Администратор сказал мне, что вы сегодня будете с девяти до двенадцати,—сказала она.—Простите меня, пожалуйста, за вчерашнее сообщение. Я только потом сообразила, как глупо и неприятно это всё может выглядеть. Мне правда очень нужно с вами поговорить. Ну вот так получилось, что я никому не могу о своей книге рассказать,—она смущённо улыбнулась,—представляете, даже мужу.

От её смущения и улыбки остатки вчерашнего странного смирения качнулись во мне, и я улыбнулась в ответ.

—Пойдёмте, ветер такой ледяной. Вы бы лучше подождали меня внутри. Вы тоже меня извините, что не ответила вам вчера. Я вчера была... занята. —Я думала, всё это пройдёт,—бормотала она мне в спину, пока мы поднимались по лестнице в мой кабинет.—Я вообще-то экономист, бухгалтер, мне уже пятьдесят три года, и представляете, в таком возрасте—и вдруг какая-то книга. Но никак она мне покоя не даёт. Мне просто рассказать вам нужно, и если вы скажете, что это всё глупо, то я ничего вообще писать не буду.

Без пальто и шапочки Елена Николаевна оказалась полноватой, коротко стриженной, одетой в зелёное трикотажное платье. Она сидела напротив, смотрела куда-то мимо меня в окно и всё говорила и говорила.

—Понимаете, я придумала так: есть такой волшебный мир, он разделён на четыре страны—лета, осени, зимы и весны. В стране лета очень жарко, пески кругом, пустыня. Люди там чернокожие, вроде африканцев, кудрявые, танцуют красиво и поют. А в стране осени всегда прохладно, на золотых деревьях зреют разные плоды, а люди там живут рыжие и смуглые. В стране зимы всегда снег, и все блондины, белокожие, воинственные такие, как викинги, и всё охотятся на зверей. А страну весны и её жителей никто никогда не видел, потому что они с помощью колдовства ото всех закрылись и никого к себе не пускают. Главная героиня—из страны лета, и её отец—царь этой страны. И вот однажды его нашли мёртвым. Колдун сказал, что его убили люди весны, чем-то он им не угодил. И дочка решила отомстить. Поехала сначала в страну осени и там познакомилась с мужчиной из страны зимы, он тоже царь, но только молодой. И они, как бы вам это сказать, полюбили друг друга.

Она говорила всё медленнее и тише и по-прежнему не смотрела на меня.

—Да, они полюбили друг друга очень сильно. И вместе отправились искать страну весны и мстить за папу. Он был царь, понимаете, да? И вдруг умер... Тяжело без отца.

Елена Николаевна замолчала.

—А что было дальше?—спросила я.—И почему вы не можете рассказать о книге мужу?

—Что было дальше, я ещё не придумала,—сказала она и наконец-то посмотрела мне в глаза.—А мужу рассказать не могу, потому что он будет ревновать.—К книге?

Она пожалала плечами так, будто объяснять тут совсем нечего.

—Нет, конечно, не к книге. А к тому человеку, который из страны зимы. Ну, который как викинг.—Понятно...—вдохнула я.—А вы сможете оставить мне то, что уже написали? Мне так, со слов, трудно оценить.

Елена Николаевна с готовностью достала из кармашка платья флешку и встала.

—Вы мне напишете, когда прочитаете, да? Вы простите, пожалуйста, я правда не хотела вас беспокоить. Но так уж получилось.

Она надела пальто и шапочку, ещё раз извинилась и ушла.

...Вот бы взять Женьку, но не ту, сорокалетнюю, которой она умерла, а восемнадцатилетнюю, и познакомиться с этим молоденьким поэтом. У неё всегда были невероятно красивые мальчики, но он красивее их всех. Взять бы и отменить—и прошедшие

годы, и её болезнь, и смерть, как-то всё хитро перемешать и соединить их в одном времени. И пусть бы они жили долго и счастливо в каком-нибудь волшебном мире, вот хотя бы в этой ненаписанной книге, и пусть бы Женька стала самой летней, самой солнечной принцессой. А этот мальчик-поэт как раз блондин. Пусть отпустит белую бороду, и будет вылитый викинг.

Мои мысли метались от печальных глаз Елены Николаевны к той самой тёплой луже, по которой мы ходили босиком; от красивого поэта к юной Женьке: было в ней в самом деле что-то африканское, в русской-то девчонке,—какая-то грациозная удлиненность, точность всего тела, пластичность в любом шаге и движении... Потом мне стало стыдно от своей жестокости: зачем я дарю Женьку неизвестному поэту, отправляю в какую-то глупую книгу и отбираю у настоящего мужа и детей? Нет, пусть уж всё останется так, как было, но она не умрёт, просто не умрёт—и всё.

Я подключила флешку, открыла единственный на ней документ и прокрутила текст на несколько страниц вниз.

«...Не верь колдуну, Джуа! Он ненавидел твоего отца и тебе желает только зла. Ты не сможешь ничего исправить. Не уходи, оставайся здесь и правь нами вместе со своей матерью и сёстрами!

Джуа фыркнула и оттолкнула старуху. Потом вскочила и яростно дёрнула золотой шнурок, поддерживающий её высокую причёску. Шнурок лопнул, и копна чёрных, как ночь, пушистых кудрей упала на плечи и спину девушки.

— Замолчи. Я велела тебе принести ножницы! Где они?..»

Я машинально поставила запятую и пролиставала ещё десяток страниц.

«...Он смотрел на Джуа, не отрывая глаз и с огромным удивлением. Ведь жители страны зимы очень редко встречались с жителями страны лета. Для зимних людей чёрная кожа и чёрные волосы были диковинкой. А Джуа тоже застыла в удивлении, отчего стала похожа на изящную статуэтку из полированного тёмного дерева. Ещё никогда она не видела мужчину с такими светлыми, почти белыми волосами и голубыми глазами, похожими на драгоценные камни в её девичьем ожерелье...»

Я пролиставала текст до конца. На предложении: «И тогда Джуа сама протянула к нему свои руки...» — он обрывался. Елена Николаевна аккуратно пронумеровала страницы и украсила каждую своей фамилией и названием романа.

— «Джуа в стране весны», — прочтала я зачем-то вслух и нажала на крестик в правом верхнем углу страницы.

Мужчина с большим, плотно набитым какими-то тряпками пакетом медленно шагал мне навстречу. Высокий и широкоплечий, в камуфляжных брюках

и куртке, обросший лохматой трёхцветной бородой — седой, чёрной и рыжей, он шёл неуверенно и смотрел на витрины супермаркета так, будто бы видел их впервые.

Я мельком глянула на него и собиралась было пройти мимо, но мужчина остановился.

— Здравствуйтесь, — сказал он.

— Здравствуйтесь, — машинально ответила я и тут же узнала его.

Он жил в соседнем подъезде с женой и маленькой дочкой, но в последний раз мы встречались прошлой весной, и тогда он был гладко выбрит и улыбочив.

Борода и усы почти до неузнаваемости изменили его лицо, он стоял, чуть раскачивая пакет, и смотрел на меня сверху вниз так же, как минуту назад смотрел на витрину.

Нужно было, наверное, что-то сказать, и я спросила:

— Вы вернулись? — и тут же мысленно выругала себя: ну что за глупый вопрос.

— Вернулся. На неделю, — ответил он и опять качнул пакетом. — Сейчас зайду в магазин — и домой.

— Хорошо, — сказала я, и мне стало стыдно: ну что же я, ничего нормального человеку не могу сказать?

— Да, — ответил он, — это хорошо. Так я пошёл. До свидания.

— До свидания, — сказала я, и он стал подниматься по ступенькам магазинного крыльца.

Мне тоже нужно было в магазин, но я представила, как мы будем бродить между стеллажами с крупами, шампунями и конфетами и делать вид, что ведём себя как обычно, буднично и просто, а потом ещё встанем рядом на кассе, — и прошла мимо, а потом всё шла, шла, спрятав руки в карманы и не обращая внимания на птичье треньканье телефона.

«Господи... — в голове будто бы перекатывалось что-то тугое и тяжёлое. — Господи, ну как же так? Что — вот именно так нужно? Как это всё может быть на одной крошечной планете — и одновременно? Как мы живём и умещаем всё это внутри? Не разрываемся от горя, ждём никому не нужного смирения, что-то покупаем и что-то едим, а потом о чём-то рассуждаем или, ещё того хуже, с кем-то ссоримся, делаем такие важные, упрямые лица, и знаем, знаем при этом, что кто-то может никогда больше не увидеть весны!»

У пустыря за супермаркетом я свернула на мокрую земляную тропинку — узкую и скользкую. Прошлогодняя трава осталась зелёной — так бывает только на юге, но высокие сухие былинки, коричневые, покорные, мёртво пошатывались на ветру. На мягкой земле виднелись чёткие отпечатки ребристых подошв и собачьих лап, валялись обёртки от шоколадок и пустые пивные бутылки. Через пару метров тропинка раздваивалась: если

пойти влево, то попадёшь на автомойку, а вправо — выйдешь к гаражам и ржавой трансформаторной будке. На усеянной окурками развилке я остановилась, вытерла мокрое лицо и посмотрела в телефонный экран.

Одно голосовое от мамы, пять — от бывших одноклассников, и три — от Елены Николаевны. Слушать их я не стала и отправила во все чаты один и тот же смайл — красное пульсирующее сердце.

Подозрительные вещи и забытые предметы

— А смерти, моя деточка, мы можем противопоставить только рождение... — Вероника покрутила карандаш и вывела что-то в клетках кроссворда. — Северный ветер — это ведь норд, правильно?

Я ничего не ответила и отвернулась к стене, стараясь собственными мыслями заглушить её глуховатый, будто бы выцветший голос. Мальчик, мальчик, у меня непременно будет мальчик. И я назову его...

— Ни-ко-лай. Так же звали поэта Гумилёва? Не помню уж, чего он там писал. В школе вроде читала, а всё позабыла.

Мне трудно представить Веронику школьницей. Кажется, она сразу родилась вот такой — с крашенными хной волосами, в тяжёлых, оттягивающих тонкую мочку золотых серьгах. Даже сейчас она умудряется пудрить лицо — зачем, для кого? — а глядя в зеркало, складывает губы бантом.

Мне не нравится Вероника. Но я очень люблю её за то, что она здесь, со мной, и я могу раздражаться от шелеста газет, запаха растворимого кофе и внезапных глубокомысленных фраз о смерти, рождении и прочих не имеющих сейчас никакого значения вещах.

Нет пока никакого рождения — оно будет, но нескоро. А уж смерти и подавно — никак не может быть.

Я отворачиваюсь от стены, гляжу на Веронику почти нежно и думаю о том, что никогда бы не назвала своего мальчика Николаем. Острое, большое имя, полное горького и неловкого смирения. Разве можно так называть детей? Им вообще не идут взрослые имена, и лучше было бы, если бы младенцев никак не звали или подбирали бы для них какое-нибудь невесомое, не людское, а речное или лесное слово. Что-то о шелесте листьев над водой или солнечных брызгах вперемешку с лёгкой тенью. Я представляю, как зову своего мальчика шелестом или солнцем, и закрываю глаза, чувствуя перед самым погружением в сон, что Вероника укрывает меня одеялом.

Электричество отключилось вчера, рано утром. Ежедневный бытовой фон — гудение холодильника и электрокотла, щелчки батареек отопления — оборвался так резко, что тишина тут же стала

давить на уши и будто бы распирать меня изнутри. Лишившись привычной, пусть негромкой, но постоянной, звуковой оболочки, я стала слышать, как высоко, за плотным облачным слоем, гудят невидимые самолёты и где-то далеко-далеко за лесом иногда раздаётся треск — резкий и короткий, а за ним грохот — долгий и перекатистый.

Вероника прислушивалась к гудению и треску, замирала, потешно прикладывая руку к уху, а потом бормотала нарочно отчётливо, чтобы я услышала, что-то про сухие ветки, ветер, идущую в нашу сторону грозу.

Завтракали печеньем и морсом — светло-жёлтой сладковатой водицей, разведённой из Вероникиных запасов облепихового варенья.

— В облепихе витаминов — тьма! — твердила Вероника, с усилием колотя ложкой в стакане.

Оранжевая, плотная, ещё в прошлом году протёртая сквозь сито и уваренная с сахаром масса упрямялась и растворяться не хотела — глотая морс, я чувствовала сладкие крупинки на языке, а потом представляла, как те самые витамины текут по моей крови прямым к самой середине тела, туда, где гнездится крохотный плод.

Ближе к обеду Вероника выволочла из кладовки во двор маленькую, на одну конфорку, походную газовую плитку и круглый, похожий на пузатую кастрюлю газовый баллон.

— Боюсь я этих газовых дел — страсть! Но без жидкого тебе никак нельзя... — причитала она, роясь в кухонном шкафчике. — Да где эта штуковина?..

И, вооружившись похожей на школьную указку зажигалкой, банкой тушёнки и горсткой крупно нарезанных овощей, отправилась на улицу варить суп.

Я закрывала глаза и пыталась представить, как тоже выхожу вслед за ней во двор — ведь и не рассмотрела его толком. Усесться бы на крыльце, вытянуть ноги и подставить всё тело солнцу. Поглядеть, что там у Вероники в саду. Понохать и пощупать новенькие зелёные листья. Познакомиться с её псом и кошками. Если бы они были моими животными, то спали бы со мной рядом: собака — на полу, а кошка — на постели.

Когда Вероника появилась возле меня с глубокой суповой тарелкой, я, смущаясь и глотая слёзы, попросила её принести мне пару зелёных листков с любого дерева и, если можно, привести хоть на минуту собаку или кошку.

Отвязывать и вести в дом пса Вероника наотрез отказалась, а кошку — рыжую, косоухую — принесла, но погладила мне не дала и показала лишь издали. Кошка уставилась на меня круглыми жёлтыми глазами — больше совиными, чем кошачьими, и махнула ободраным хвостом.

— Поглядела? — спросила Вероника. — Ну и хватит. А то мало ли какой дряни с неё насыплется. Хочешь, потом ещё белую покажу, если изловлю? Она вечно шляется где-то, не отыскать!

Она выкинула кошку за дверь и вымыла руки. А потом достала из карманов куртки и высыпала на одеяло рядом со мной ворох мелких ослепительно-свежих листьев и пучок узких травинков. — Мало ещёросло, рано. Вот через месяц сад не узнаешь! Ещё и зацветёт всё! Да не реви ты. Чего это вздумала? Понюхай лучше, как зеленью пахнет,— сразу плакать расхочется. И ешь суп-то, пока горячий...

Вероника, хоть и строила из себя женщину ухватистую, деревенскую, на деле была городская, от серьёзных садовых и огородных дел далёкая. Этот дом—одноэтажный аккуратный коттедж в крохотном дачном посёлке всего на десять участков—купила она несколько лет назад, когда жив был её муж и сын собирался жениться.

— Я, деточка, родилась-то в деревне—далёко отсюда, за Уралом. Мать с отцом всю жизнь носом в землю. А я отучилась, в райцентр уехала, а потом уж в Москву. Там и замуж, и работала—до самой пенсии. А потом сюда, поближе к теплу, всей семьёй решили рвануть—мы, значит, с мужем, ну и сын со своей. Квартиру в городе взяли и домик вот этот, чтоб на воздухе да со своими овощами-фруктами... А Мишка-то мой возьми да умри. И сын развёлся, даже внуков родить мне не успел, и обратно в Москву подался. Осталась я одна совсем. Сюда как на дачу приезжала, уж и не растила ничего, одни цветы да укропчику там, петрушки. Собаку завела, кошки прибились всякие. Но вообще, как Мишки не стало, как-то посыпалось всё. Я тогда ещё подумала: беда в семью пришла, прилипла и не отстанет теперь, будет расти и расти нам вместо овощей... Так и вышло.

Дурацкие слова про беду она повторяла почти каждый день, слушая радио, вздыхая и тыча указательным пальцем куда-то в окно. На имени мужа её голос дрожал, но она не плакала, а шла к зеркалу, пудрилась и кашляла.

— А как вам в Москве жилось? Нравилась она вам?—спрашивала я, пытаюсь представить её молодой и влюблённой в жениха—почему-то мне казалось, что он был невысокий, плотный и улыбочивый, вроде Гагарина.

Вероника пожимала плечами и недоумённо хмурилась:

— Москва как Москва. Чего в ней такого? Большая. Народу-у-у! Ну, красивая, конечно. Столица!

Я разочарованно закрывала глаза и снова злилась: можно ли быть такой скучной? Сама я была в Москве только один раз—очень давно, в раннем детстве. Мне было пять, а маме тридцать, и я ничего не запомнила из той поездки, кроме широкой, мокрой после дождя улицы с чёрным блестящим асфальтом и мелкими лужицами, полными золотых, серебряных и красных огней. «Смотри, смотри!»—говорила мне мама и кивала головой вверх, а я не могла оторвать взгляда от мокрого

разноцветного сияния, идущего, как мне казалось, откуда-то из-под земли.

— Съездишь ещё...—утешала меня Вероника, по-своему истолковав моё молчание.—Какие твои годы! Вот родишь, подкормишь годик, да и поедете: хочешь—в Москву, а захочешь—на море. Даст Бог, уж утихнет всё, и будет всё по-прежнему, по-хорошему. Нельзя же шуметь вечно, нужно людям и отдых дать.

Ужинали бутербродами с колбасой и огурцами.

Засыпала я плохо. Батареи совсем остыли, в комнате стало сыро и холодно. От долгой неподвижности—я почти не вставала с этой кровати уже четыре дня—руки и ноги онемели и потеряли гибкость. Внизу живота тянуло—еле-еле, но ощущаю, будто кто-то невидимый натягивал тонкие, с волосок, струны и проверял их на прочность, а мне приходилось удерживать их всем телом, всеми мыслями. От напряжения я устала и провалилась в сон, больше похожий на обморок, но несущий всё же облегчение и забытё.

— Тс-с...—чей-то шёпот пробился сквозь плотную толщу сна, и я медленно, раздвигая головой тёмную воду и водоросли, выплыла в явь.—Тихо, милая, тихо-тихо...

Вероника, еле видная в темноте, стояла перед моей кроватью на коленях и гладила меня по плечу.

— Молчи... Не шевелись. Ходят там.

За окном слышались два мужских голоса—начала неясно, издали, потом всё ближе и чётче.

— Сюда? Мож, сюда, смотри, ничё так хата?—спрашивал один, шмыгая носом.

— Можно и сюда...—лениво растягивая слова, отвечал другой, и от его голоса мне стало страшно до паники, до крика.

Словно почувствовав это, Вероника мягко, но плотно закрыла мне ладонью рот, и её рука пахла кокосовым мылом и луком. «Мальчик, мальчик, у меня должен быть мальчик...—твердила я про себя и мелко дрожала всем телом.—И я назову его...»

— Лёх, глянь,—первый голос будто приподнялся на цыпочки,—там собака, походу. Слышь? Вылезла. Мож, камнем её? Или пристрелишь?

Сквозь звон цепи, грохот заборных ворот и лай слышно было, как матерился первый. Напрыгавшись и налаявшись до хрипоты, Вероникин пёс принялся рычать—низко, долго и угрожающе.

— Уехали, а собаку бросили. Вот уроды,—протянул второй.—Не, возни много. Пошли.

Тихо переговариваясь, они двинулись вверх по улице—к большому двухэтажному коттеджу, последнему в ряду дачных домов.

Вероника осторожно отняла ладонь от моего лица и забралась на кровать.

— Подвисься-ка. Я с тобой побуду. Укройся, простудишься ещё. Дом-то совсем остыл,— шептала она, набрасывая на меня одеяло и обнимая за плечи.— Ну не трясись, не трясись. Спи.

— Послушайте, ну что вы хотели? Тридцать восемь лет. Три выкидыша. Вам бы прекратить эти попытки, вы совершенно измучили свой организм,— врач говорила сухо и строго, и её голос, слабый запах сладких духов, болезненно-яркий свет над моей головой и память о тонкой, как лезвие, тянущей вниз боли,— всё казалось мне одним невыносимым цветом, звуком и запахом. — Я всё-таки буду пробовать ещё,— сказала я.— Вот как вы советовали мне ещё давно, помните? Расслаблюсь и забуду обо всём на свете, как будто я просто живу себе и никакого ребёнка мне не нужно. Вы только скажите, что мне делать, если вдруг получится?— спросила я и зажмурилась, чтобы не заплакать.

— Я вам это советовала пять лет назад. Тогда и вы были поздоровее, и обстановка, знаете ли, благоприятствовала деторождению...— проворчала врач.— Что делать, что делать... Лежать и не шевелиться. И прямо с того места, в котором вы забеременеете,— ко мне в клинику, причём не автомобилем, не автобусом и не поездом. А телепортом. Ну в крайнем случае— на скорой.

Пашка ждал меня в коридоре, и мне, как всегда, стало стыдно за то, что он должен таскаться со мной по больницам и терпеть мои слёзы. Может быть, если бы он упрекал меня, или сказал бы, что не хочет больше ничего, или ругался бы, когда я реву, мне было бы легче и проще. Но он вообще не говорил ничего и делал всё, о чём я его просила, покорно и равнодушно.

— Мне нужно отвлечься, понимаешь? Забыть, как будто всё хорошо и ничего не было,— улыбаясь, говорила я ему в машине и старалась не думать, как выгляжу со стороны— опухшая от слёз, лохматая, полусумасшедшая, твердящая одно и то же вот уже пятый год.

Я понимала, что Пашка очень устал от всего этого, но он ни разу не чувствовал такой острой, горячей боли, какую чувствовала я, и не представлял, как это— бояться своей собственной крови, и от этого мой стыд перед ним сменялся злостью, потому что даже если я накричу на него сейчас или выскочу из машины на ходу, он не изменит этого своего выражения лица— спокойного и пустого. Наверное, я уже не любила его. И он— наверняка— не любил меня. Но это не меняло ровным счётом ничего— ни для меня, ни для него, потому что мы продолжали ехать в этой чёртовой машине домой, где я умоюсь, причешусь и даже зачем-то покрашусь, пока он будет смотреть новости и качать головой, а через неделю поедем на дачу— сорок минут от города по трассе мимо чужих окон, среди

чужих машин, такие чужие друг другу, а потом в дачный посёлок приедет жёлтый автобус с надписью «ДЕТИ», и человек с громкоговорителем пойдёт между домами, а я буду стоять в туалете с полоской теста в руках и не слышать ни криков, ни стука в дверь.

Очнувшись от полуобморока-полусна, я смотрела в светло-серый квадрат окна и не могла понять, отчего мне так хорошо. Потом сообразила: электричество вернулось, и в комнате стало тепло. Шумел холодильник, пощёлкивали батареи, бормотало за стенкой радио. Далёкий низкий гул невидимых самолётов отступил, таил и растворялся за лесом редкий грохот, и вправду похожий на гром.

Вероника, устроившись у зеркала, обмазывала голову остро пахнущей зелёной жижей.

— Проснулась?— спросила она, услышав, как я зашевелилась.— Лежи пока, лежи. Сейчас я затылок домажу, и будем завтракать. Виданное ли дело— два сантиметра седины отросло. Ты, кстати, знаешь, что хна— она и для беременных разрешается? Тебе рыженький пойдёт!

— Да как же...— заволновалась я, вспомнив ночных гостей, и даже засомневалась: были ли они? Может, это был сон?

— А эти...— Вероника поджала губы,— ушли. Я утром в окно видела: вылезли из Машкиного дома и вверх по дороге почесали. С мешками. Ну, если они у Машкиного мужа инструменты утащили— беда... Одна ж косилка была нормальная на всю улицу. Вот гады! Ты как, сильно испугалась? Пригодился нам пёс-то! Я ему всю колбасу отдала— всё равно скоро бы испортилась.

Я кивнула, стараясь не вспоминать свою ночную дрожь, два голоса и Вероникин шёпот: «Тихо, милая, тихо...» Не было всего этого. Приснилось. Не было ничего плохого и не будет. Вот приедет Пашка, как мы и договорились, со скорой помощью, заберёт меня отсюда и отвезёт в клинику, я лягу на прохладное белое постельное бельё, врач даст мне таблетки или поставит капельницу, и я приму всё что угодно, стерплю всё что угодно, лишь бы...

— А твой-то, деточка,— перебила мои мысли Вероника,— третий день уж не едет. Я что— я хоть месяц тут просижу. Квартира моя в городе есть— пить не просит, запасов тут прилично: консервы, картошка ещё осталась, капуста квашеная... Но ты-то как? Я ещё вчера хотела тебе сказать, что дело нечисто, но ты уж больно кислая была. И эти ещё... Вдруг вернутся или другие придут?

— Не говорите ерунды,— сердито ответила я.— Ну не бросит же он меня тут одну с ребёнком? И вас— знает же, что вы со мной остались. Ну, если хотите, езжайте сами в город, до электрички вон двадцать минут пешком. А я тут подожду.

Я злилась на Веронику, и представляла, как наору на Пашку, когда он наконец-то объявится,—

за то, что ехал так долго, за то, что мне было так страшно, и даже за то, что сотовая связь в посёлке пропала начисто. А потом вспомнила его спокойное пустое лицо за ветровым стеклом и как он терпеливо ждал, пока вырулит перед ним на дорогу жёлтый автобус с дачниками, их собаками и кошками, как пропустил машины тех, кто уезжал сам, и ни разу не посмотрел в мою сторону, а я стояла на крыльце, держась за Веронику— всего третий раз виданную нами соседку по даче, и всё ждала, чтобы он обернулся и хотя бы улыбнулся мне напоследок.

— Спасибо вам, что остались со мной,— сказала я.— Вы простите, что так получилось. Но, наверное, он и вправду не приедет.

Я заплакала, чувствуя, как бегут по щекам тёплые слёзы— привычными, будто бы проторёнными дорожками. Наверное, если люди плачут так много, как я, то на коже в конце концов остаются борозды, как на земле после сильного дождя.

— И опять реветь,— Вероника натянула на волосы пакет и обмотала голову полотенцем.— Ну как бы я тебя бросила? Гляжу— мужичонка-то юлит. А ты, сразу видно, хорошая. Не повезло тебе, это бывает. В первородках под сорок лет нелегко ходить. Ну, даст Бог, всё уладится, даст Бог.

А я всё плакала и плакала, и борозды на моих щеках становились Марианскими впадинами и марсианскими каналами. Я чувствовала, что весь

мир— целый огромный мир— предал меня и оставил одну. Не было мне ни спасения, ни помощи, все храбрые, сильные мужчины смотрели новости, укоризненно качали головами или ехали в своих машинах с такими лицами, будто бы всё на свете им известно и понятно. Что я могла сказать им? Чем поразить? Двухнедельным эмбрионом, цепляющимся за призрачную возможность жизни тончайшими, не видимыми глазу нитями? Пожилой женщиной с зелёной жижей на голове? Или псом, готовым умереть за неё без всякого промедления и сомнений?

Вероника собрала перепачканные миски, ушла на кухню, выключила радио и включила чайник. Травяной острый запах хны смешался с запахом кофе, лилась в раковину вода, звенела посуда. Утренние серые сумерки ушли, и комната медленно наполнялась светом.

Мальчик, мальчик, у меня обязательно будет мальчик. Я назову его плеском, шелестом, или солнцем, или холодной речной водой, а когда он вырастет, то сам придумает себе взрослое имя, сядет в большой самолёт, полетит над лесом, над морем, над пустынями и горами, ничего не будет бояться и никого не обидит. А когда будет пролетать над нашим домом, то не станет прятаться в облаках— спустится к самой крыше, сделает круг и покачает белыми крыльями на прощание.